

Максим Горький

Поль Верлен и декаденты



Максим Горький

Поль Верлен и декаденты

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2148745

Аннотация

«В декабре прошлого года в Париже умер Поль Верлен, поэт-декадент и основатель этой болезненно извращённой литературной школы. У могилы этого человека, до дня смерти своей считавшегося только представителем литературной богемы, а ныне уже провозглашённого „великим поэтом“, сошлись представители всевозможных школ и фракций, и это редкий пример, чтобы за гробом умершего столь единодушно шли разнородные, враждебные друг другу элементы...»

Максим Горький

Поль Верлен и декаденты

В декабре прошлого года в Париже умер Поль Верлен, поэт-декадент и основатель этой болезненно извращённой литературной школы. У могилы этого человека, до дня смерти своей считавшегося только представителем литературной богемы, а ныне уже провозглашённого «великим поэтом», сошлись представители всевозможных школ и фракций, и это редкий пример, чтобы за гробом умершего столь единодушно шли разнородные, враждебные друг другу элементы.

Начавший свою литературную деятельность с подражания Теодору Банвилю и Леконт де-Лиллю, Верлен, как и его учителя, явился пред публикой непримиримым «парнасцем», строго храня заветы этой холодной школы, щеголяющей своим бездушным объективизмом, мраморной красотой формы и не признающей ничего выше её.

Но скоро он, натура, всю жизнь свою искавшая твёрдой почвы, уклонился от «парнасцев» в сторону «декадентов» и уже в 1880 году был признан главой этой школы, совершенно игнорировавшей форму в противовес «парнасцам» и до сей поры всё ещё пытающейся создать что-то новое, грандиозное и создающей только странные намёки и трудно понимаемые картины, внутреннее значение которых едва ли понятно и самим творцам их.

Но, примкнув к этой школе и позднее став во главе её, Верлен был яснее и проще своих учеников: в его всегда меланхолических и звучащих глубокой тоской стихах был ясно слышен вопль отчаяния, боль чуткой и нежной души, которая жаждет света, жаждет чистоты, ищет бога и не находит, хочет любить людей и не может.

Жюль Леметр говорит об этом человеке, жизнь которого протекала в кабаках, где он пил абсент, и в госпиталях, где он лечился от злоупотреблений абсентом:

«Это дитя с душой настолько чистой и честной, что на земле ей не может быть места, где бы она была покойна». Наш А. Майков, сам «парнасец», высказал убеждение, что в нашем веке из современных поэтов Запада Верлен яснее всех понял христианство, а Катулл Мендес сказал, что отец декадентского направления был несчастный человек и великий поэт.

Но оценка Верлена как поэта принадлежит будущему и ни в каком случае не входит в рамки нашего очерка. Нам важен Верлен как человек, как культурный тип и как яркий представитель той всё более развивающейся группы людей, которых зовут декадентами, расшатанными, падающими, и которые охотно принимают эти эпитеты и даже с гордой бравадой рисуются своими болезненными странностями, делающими из них, с обыденной точки зрения, смешных людей с большими претензиями; с точки зрения врача-психиатра – людей психически больных; с точки зрения социолога – анархистов в

области не только искусства, но и морали; со всех трёх точек зрения декаденты и декадентство – явление вредное, антиобщественное, – явление, с которым необходимо бороться.

Отметим важный факт в развитии этого явления. Это именно, что общество всё более и более внимательно относится к нему и, мало того, признавая за декадентами право на внимание, выделяет из среды их более талантливых и жадно читает и смотрит их произведения.

Не говоря о Верлене, ныне признанном за великого поэта, укажу на Мориса Метерлинка, чьи драмы, несмотря на туманность их идеи, обошли сцены почти всех театров Европы; на итальянца Аннунцио, чьи романы переводятся, по мере их появления, на все европейские языки; на немца Гауптмана, наделавшего столько шума своей драмой «Ганнеле», и т. д. Это факты, усиливающие важность явления, увеличивающие его социальное значение, а не надо забывать, что оно, это явление, единодушно признаётся вредным.

Обращаем внимание читателя ещё и на тот факт, что первые декаденты явились во Франции в конце семидесятых годов, когда торжество буржуазии и её мирозерцания стало несомненным для всех тех, кто не забыл 89 года и трёх ныне забытых слов, провозглашённых в этом году, – слов, за которые было пролито так много крови.

Буржуазия победила и тотчас же начала создавать себе свою жизнь. Ей создали театр Пальерон и Сарду, ей создали

поэзию апологет мелких чувств и будничной жизни Коппе и его товарищ, грубый материалист и скептик Ришпен, для неё стал писать свои романы Онэ, и много ей помог укрепиться на почве детерминизма, краугольного камня её мирозерцания, сводящего личную волю к нулю и ставящего всё в зависимость от сцепления причин, ярый проповедник детерминизма и строгий материалист Золя. Для неё создали музыку, живопись и всё, что нужно было ей для того, чтобы иметь право счесть себя культурной.

Всё это было дано быстро, и всё это ещё быстрее пожиралось доминирующим классом, которому необходимо нужно было торопиться запастись каким-либо внутренним багажом, ибо ещё жив был Гюго и около него стояло много других идеологов – людей, которые не могли относиться равнодушно к искажению всего истинно красивого и чистого в угоду новому обществу, требовавшему для своего обихода чего-либо попроще, посрее, не очень высокого, не нарушающего собою сон совести и не зовущего в небеса и на создание новой жизни, а чего-либо упрочивающего, узаконивающего старую жизнь.

Явился спрос на философию, которая оправдывала бы буржуазию, явилось и предложение такой философии. Оптимистическое благодущие Ренана позволяло ему, ради запросов нового общества, войти в противоречия с самим собой. Тэн тоже подложил несколько кирпичей в стену, воздвигаемую буржуазией для защиты себя от возможных уко-

ров совести. Затем ещё несколько усилий, несколько штрихов, и положение буржуазии было упрочено.

Тогда во Франции, живущей всегда быстрее всех других стран, создалась атмосфера душная и сырая, в которой однако очень хорошо дышалось Полю Астье и всем людям его типа, исповедовавшим прямолинейный материализм и относившимся скептически ко всему, что было идеально и призывало к переустройству жизни в смысле приближения к истине и справедливости в отношениях человека к человеку.

Создалась атмосфера преклонения перед действительностью и фактом, жизнь стала бедна духом и темна умом, появились невозможные до той поры процессы Вильсонов и К^о, разнообразные «Панамы», полное падение морали, оскудение идеализма, и якобы философская проповедь свободы греха заняла место всегда истинной проповеди свободы от греха, а нравственность всё более и более падала.

Стали возможны процессы по обвинению в продаже политических тайн государства его врагам, каков процесс Дрейфуса; стало возможно многое подлое и низкое, многое такое, что было совершенно невозможно даже четверть века тому назад. И в то время как одним жилось и дышалось в этой атмосфере свободно и легко, другие – более честные, более чуткие люди, люди с желаниями истины и справедливости, люди с большими запросами к жизни – задыхались в этой атмосфере материализма, меркантилизма и морального оскудения, задыхались, искали выхода вон из буржуазной

клоаки, из этого общества торжествующих свиней, узких, тупых, пошлых, не признающих иного закона, кроме инстинкта жизни, и иного права, кроме права сильного.

Люди эти, с более тонкими нервами и более благородной душой, плутали в тёмной жизни, плутали, ища себе в ней чистого угла, часто шли против самих себя и гибли, неудовлетворённые, ничего не найдя, гибли с оскорблённой душой, измученные шумом пошлой и развратной жизни, их милой и весёлой Францией, раньше страной рыцарей, ныне страной жирных и разнузданных купцов, чувствующих себя господами положения.

Погиб Мопассан, грандиозный талант, отравленный фимиамом буржуазных похвал, растративший себя на создание крошечных щекочущих нервы и возбуждающих чувственность новелл, которые читались рантье после сытного обеда.

Бурже, начавший так талантливо свою деятельность, из глубокого философа, прекрасно расходовавшего свой здоровый и острый скептицизм на освещение застарелых болезней общества и вскрытие его язв, замаскированных, но неизлеченных, превращается в скучного и сухого моралиста, в духе католицизма, со склонностью к мистике, в которую уже впал его товарищ Гюисманс.

Напрасно мрачный Бодлер в бессонную ночь спрашивал:

Кому, какой служа святыне,

Свой день употребили мы?

Его считали безумным, буржуазия не выносила его «Цветов зла», ибо в них он говорил в лицо ей:

Увы! Мы шли путём гордыни,
Маммона, ереси и тьмы!
От бога правды, Иисуса,
Мы отрекались со стыдом,
Рабы пресыщенного вкуса
За Валтасаровым столом.

Его не терпели за то, что он укоризненно говорил пресыщенному обществу:

Очнись! Великий грех
Без пользы занимать на божьем пире место!
...Опомнись! Бездна ждёт, – она неумолима.

И зловеще пророчествовал глухому и слепому обществу:

Уж близок, близок час, когда, восставши грозно,
Природа, Разум, Честь, забытый Долг и Стыд —
Всё, всё над головой безумца прогремит:
«Умри, о старый трус! Исчезни! Слишком поздно!»

Он, этот Бодлер, «жил во зле, добро любя», и, наконец, погиб, оставив Франции свои мрачные, ядовитые, звучащие

холодным отчаянием стихи, за которые при жизни его называли безумным, а по смерти называли поэтом и позабыли, слушающая Коппе и Ришпена, истых сынов своего общества, «парнасса» Эредиа, ничего не говорящего сердцу, и вспоминая о Банвиле и Леконт де-Лиле, которые писали так красиво, что их стихи больше похожи на мраморные кружева мавританских дворцов, чем на живую рифмованную речь.

И многие другие поэты и писатели погибли, отравленные жизнью современной Франции, погибли, ища во мраке бога, которого отвергло общество, но без которого невозможно существование тех единичных людей, что призваны судьбой идти впереди жизни; много погибло людей оттого, что они были честны и не хотели преклониться пред идолами, нося в своих сердцах вечные идеалы.

И в то время как они гибли один за другим, общество всё пресыщалось своей извращённой культурой и, наконец, начало смутно чувствовать позыв к новизне. Оно нашло её, обратившись к древним религиозным культам Изиды и Озири-са, Будды и Зороастра; оно нашло новизну, воскресив средневековую магию под новым именем оккультизма. И, отслужив обедню пред алтарём Изиды, оно шло в «Кабачок смерти», где, сидя в гробах, заменяющих столы, и попивая пиво из черепов, играющих роль бокалов, оно хладнокровно издевается над великой тайной смерти.

Этот «Кабачок смерти» характерен как признак крайнего отупения нервов, как грубая материалистическая выходка

людей, способных надо всем издеваться, всё опрокинуть и разрушить только из желания насладиться ощущением своей силы при виде того, как полетит в грязь и разобьётся в прах то, чем ранее дорожили. Пресыщенные буржуа превратились в Геростратов, готовых ежедневно жечь храмы.

Но судьба справедлива.

Судьба справедлива, и над современным обществом Франции раздался оглушительный треск бомб; мы говорим не о бомбах Равашоля и его сподвижников, – эти убивали сразу, а имеем в виду те бомбы, которые бросили в общество Метерлинк, Пеладан, Фезансак, Рене Гиль, Малярме, Ролина, де-Буа, Мореас, Ноэль Лумо и другие, под предводительством Поля Верлена, раба «зелёной феи» – абсента.

В восьмидесятых годах в одном из кабаков Латинского квартала сформировался этот кружок молодёжи, странно одетой, всё критикующей, всё отвергающей, говорящей о необходимости создать миру нечто настолько новое, что сразу оживило бы его. О всём существующем говорили в тоне самой отчаянной бравады и гордого презрения людей, уверенных в себе и в своих творческих способностях.

Что они хотели творить? Едва ли кто-либо из них ясно представлял себе это, но самые фантастические и разнузданные идеи зарождались в их пылких и, без всякого сомнения, *болезненно* (выделено М. Г. – Ред.) возбуждённых мозгах.

Сар Пеладан, одна из самых странных и безумных фигур

среди этой группы новаторов, человек, почему-то присвоивший себе звание египетского мага (Sare – маг) и ходивший по улицам в длинном красном плаще, – этот Пеладан сказал однажды, пародируя Нерона:

– Если бы весь мир имел одну голову, я влил бы ему в мозг яд безумия.

Товарищи аплодировали ему за эту выходку сумасшедшего: они вообще предпочитали безумное разумному и аномальное – нормальному. Они развивали самые невероятные теории искусства, отрицая «парнасцев», относясь скептически к Бодлеру за то, что он «не может отрешиться от морали», как выразился Монтеस्कью-Фезансак.

Морис Баррес, в то время только что выступивший с своим «эготизмом» и прославлением энергии, «силы, пред которой всё должно преклониться», подвергся со стороны декадентов отчаянной критике, и Малярме, в статье, направленной против теории Барреса, решительно и смело заявил от лица декадентов:

Не пишите нам законов, не создавайте нам гипотез, теорий и доктрин. Мы не примем ничего этого. Мы сами создадим себе всё это, если захотим. А до того времени мы не хотим ни логики, ничего – это всё от человека, всё это плоды его ума. Мы тоже люди, господин Баррес, и тоже можем писать книги. Но мы не хотим однообразия и будем сегодня верующими, завтра – скептиками, послезавтра мы будем монархистами или революционерами, если захотим этого. Да,

мы сделаем так, как захотим, – и никто не заставит нас сделать иначе.

Они говорили все эти бешеные вещи, несомненно, искренно, и они не могли не чувствовать себя правыми в своих безумствах, видя, что кругом их царит полное бесправие. Их нервы были изощрены до болезненности, они были, несомненно, очень впечатлительными людьми, и, весьма вероятно, что, если б в Париже в восьмидесятых годах дрались на баррикадах, – в девяностом году декадентов не было бы. Я рисую их себе так: сначала это были дети, чистые сердцем дети, какими бываем все мы, к сожалению, очень краткое время. В силу различных условий они выросли более нервными и более чуткими к восприятию внешних впечатлений.

Атмосфера современной культурной жизни любого европейского города даёт такие яркие, оглушающие картины всевозможных социальных контрастов, что юноше трудно сохранить равновесие души, побыв в ней некоторое время. Признано, что Париж действует в этом разлагающем мозг и сердце направлении гораздо сильнее, чем другие города, что объясняется особенной нервозностью его жизни и живостью французов. Декаденты – люди, изнемогавшие от массы пережитых впечатлений, чувствовавшие в себе поэтические струны, но не имевшие в душе камертонов в виде какой-либо определённой идеи, – юноши, желавшие жизни, но истощённые ещё до рождения.

И вот эти слабые духом и телом, болезненно впечатли-

тельные и фантазирующие люди сидели в кабачке Латинского квартала и, всё отвергая, всё разрушая, бравируя и безумствуя, чего-то ждали...

И, наконец, дождались...

Один из представителей литературной богемы, Артур Рембо, написал странный, а ныне знаменитый «цветной сонет» – вещь, на которую он сам смотрел, быть может, не более как на шутку, на красивую игру слов.

В сонете говорится:

А – чёрный; белый – Е; И – красный; У – зеленый;

О – синий: тайну их скажу я в свой черёд,

А – бархатный корсет на теле насекомых,

Которые жужжат над смрадом нечистот.

Е – белизна холстов, палаток и тумана,

И гордых ледников, и хрупких опахал;

И – пурпурная кровь, сочащаяся рана

Иль алые уста средь гнева и похвал.

У – трепетная рябь зелёных волн широких,

Спокойные луга, покой морщин глубоких

На трудовом челе алхимиков седых.

О – звонкий рёв трубы, пронзительный и странный,

Полёты ангелов в тиши небес пространной —

О – дивных глаз её лиловые лучи!

(Перевод Кублицкой-Пиотух)

Странно и непонятно, но если вспомнить, что в 1885 году, по исследованию одного знаменитого окулиста, 526 человек

из студентов Оксфордского университета, оказалось, окрашивали звуки в цвета и, наоборот, придавали цветам звуки, причём единодушно утверждали, что коричневый цвет звучит, как тромбон, а зелёный – как охотничий рожок, – может быть, этот сонет Рембо имеет под собой некоторую психиатрическую почву. Не надо также забывать и безграничность человеческой фантазии, создавшей много вещей гораздо более странных, чем этот «цветной сонет», послуживший для декадентов чем-то вроде откровения и ставший краеугольным камнем их теории искусства.

Они решили, что этот сонет есть не что иное, как первообраз новой поэзии, – поэзии, которая действует на ум и воображение, возбуждая чувства – все пять чувств – в известных комбинациях, в известной связи.

Нужно, сказали они, связать с каждой буквой известное, определённое ощущение: с А – холод, с О – тоску, с У – страх и т. д.; затем окрасить все буквы в цвета, как это уже сделал Рембо, затем придать им звуки и вообще оживить их, сделать из каждой буквы маленький живой организм. Сделав так, начать их комбинировать в слова, и это поведёт к тому, что каждая данная комбинация букв, сопровождаемых цветом, звуком и каким-либо ощущением, в одном слове может дать читателю целый сложный образ, который он воспримет сразу всеми органами восприятия, – и судите сами о силе впечатления от стихотворения, написанного такими словами!

Вы читаете и воспроизводите пред собой цвета, запахи,

звуки, чувства, – воспроизводите всё это с поразительной ясностью, переживаете в одном стихотворении ряд живых образов.

«Все краски, запахи и звуки заодно», – как сказал Бодлер, предвосхитивший идею Рембо в своем символическом стихотворении «Природа».

Ноэль Лумо, декадент-теоретик, по словам Рене Думика, так определяет намерения декадентов и свойства их нового творчества:

Современный человек, существо с израсходованной нервной силой и истощённым воображением, читая – проглатывает и, не перепаривая, извергает из себя книгу или сонет, – это потому, что он изжил себя, дрябл, изношен, и думать – для него труд, а не удовольствие. Как к больному, который не может жевать и глотать, мы хотим применить к нему искусственное питание, хотим сделать так, чтоб он впитывал в себя идею и образы книги всеми порами своего дряхлого тела; как влагу ванны, вбирал бы он в себя соки идеи. Это, мы уверены, не только вылечит и возродит его, но ещё изошрит и разовьёт его чувства, обновит его.

А Мореас в предисловии к одной из своих поэм в прозе, о которой Жюль Леметр говорит, что «эта вещь, может быть, имела бы успех у сумасшедших, но разумные, наверное, не одобряют её, ибо они едва ли поймут в ней хотя бы одну фразу», – Мореас говорит:

У людей мало слов для того, чтоб они могли понимать

друг друга. У них нет форм для выражения чувств. Слова, имеющиеся в их распоряжении, слишком изношены и бледны. Они мало говорят. Они ничего не рисуют. Ах, это большое несчастье, что сначала развиваются чувства, а потом уже язык. Мы остаёмся назади языка с нашими чувствами, мы не можем выговорить себя, и вот почему никто никого не понимает. Нам нужны новые слова, много слов; нам всегда нужно бы иметь в запасе несколько лишних слов, ибо часто чувства мимолетны, моментальны и нам нечем оформить их. Ах, во многом ещё мы нищие и вот почему так часто грабим друг друга.

Создали теорию, и началась горячка творчества. Верлен стоял впереди всех; он первый усмотрел эстетическое откровение в сонете Рембо и был самым плодовитым из всех новаторов искусства.

Он, ранее писавший точные и блестящие сонеты в духе «парнасцев», начал создавать такие изломанные вещи, как вот эта, приводимая Гюйо:

«Луна бросала тупыми углами свои цинковые краски; с высоких острых крыш поднимались густые и чёрные клубы дыма, напоминавшие собою цифру пять», и т. д.

Малярме, Ролина, Фезансак не уступали Верлену, наводняя журналы своими непонятными сонетами. Сначала Париж, жадный до новинки, читал всё это и некоторые вещи имели несомненный успех, как, например, приводимое у Нордау стихотворение «Скука», в котором говорится о «бе-

лых лебедях» и где частое повторение носового звука «en» действительно вызывает скуку, но потом Парижу надоели декаденты, и они принуждены были основать свой журнал.

Но Париж не мог так дешёво отделаться от больных людей, им же созданных; среди них оказались люди с действительными талантами, с большим чувством, с глубокой тоской в сердце, люди, «взыскующие града». Взвинченное, болезненно развитое воображение не только увеличивало силу их талантов, но и придавало их произведениям странный колорит то какой-то иступлённости, то неизлечимой меланхолии, то пророческого бреда, неясных намёков на что-то, таинственных угроз кому-то. И всё это давалось в странных образах, связь которых была трудно постигаема, в рифмах, звучавших какой-то особой, печальной, похоронной музыкой. Они пели и жужжали, как комары, и общество хотя и отмахивалось от них, но не могло не слышать их песен. А иногда в общем неясном шуме декадентских стихов раздавался действительно ценный и поэтический звук, искренний и простой, как молитва мытаря.

Печально вздыхает Верлен, то задумчивый и размышляющий о смерти, то настроенный молитвенно, то вдруг гневный и проклинаящий или кающийся в своих грехах и вдруг, издеваясь надо всем этим, воспевающий чары своей возлюбленной «зеленой феи», медленно, но верно убивавшей его. Он писал свои сонеты всегда в кабачке и всегда в компании со стаканом абсента, его музой, его «зелёной феей».

И в этой обстановке, полубольной и полупьяный, он общал публике в кротких и мягко задумчивых стихах свои странные видения:

Я часто вижу сон, пленительный и странный,
Мне снится женщина. Её не знаю я,
Но с ней мы связаны любовью постоянной,
И ей, лишь ей одной, дано понять меня.
Увы, лишь для неё загадкой роковой
Душа прозрачная перестаёт служить,
И лишь одна она задумчивой слезою
Усталое чело умеет освежить.
Цвет локонов её мне грезится неясно,
Но имя нежное и звучно и прекрасно,
Как имена родных утраченных друзей.
Нем, как у статуи, недвижный взор очей,
И в звуках голоса, спокойно отдалённых,
Звучат мне голоса в могилу унесённых.

Это читали, и над этим задумывались. Выступил Метерлинк с своими туманными пьесами. Мрачность их образов пугала воображение и заставляла ум искать в них смысл. Принимались искать, находили и удивлялись; декаденты, люди, ещё так недавно объявившие себя стоящими вне всяких моральных законов, ревностно искали бога, доказывали другим необходимость найти его, проповедовали мораль, ту же мораль, что и все проповедуют: веруй? люби и надейся! Но всё это в странных, изломанных фразах, в непонятных

стихах, в туманных образах, и наряду с этой моралью масса сонетов, звучных, музыкальных, но проникнутых от первой до последней строчки чем-то таким, что ясно чувствуется, но неуловимо для ума. Казалось, что они хотят испугать или огорчить людей. Раздражительная нота тоски, вечной неудовлетворённой тоски, и какого-то желания, тоже неудовлетворённого, неустанно звучит в этих стихах, звучит и страшно надоедает ушам общества. Но нечто болезненное и нервное, психоз декадентского творчества, постепенно, незаметно, капля по капле, въедается в кровь общества, и оно колеблется... В нём зарождается та болезнь, которую взлелеяли и культивировали в себе его дети, Верлены и Метерлинки, – культивировали и ныне привили ему её тонкий разрушительный яд.

И вот буржуа, которые ранее шли в храм Изиды и в «Кабачок смерти», потому что такова тогда была мода и быть в этих местах считалось шиком, ныне ходят туда по внутреннему влечению – к Изиде, чтоб как-нибудь, хотя язычески, но помолиться; в «Кабачок смерти», – чтоб испытать мистический ужас пред вечной загадкой существования, пред этой «всё примиряющей, всё выравнивающей, одинаково всех возлюбившей» вечной героиней декадентских стихов – смертью.

Пресыщенные и развратные буржуа, скептики и материалисты, вдруг круто поворачивают назад; является интерес к мистическим книгам средневековых монахов, из старого

хлама библиотек достают трактаты о дьяволах и магии, в театре возрождается мистерия, в романах – католицизм; ко-
жовенный заводчик Луи Падуан пишет брошюру о Сераписе и в ней пытается доказать, что никогда человек не созда-
вал себе бога более истинного, живого и всеохватывающего,
чем Серапис – бог, сотворённый Птоlemeями, и, наконец,
в 1894 году Жорж де-Буа насчитывает в Париже более два-
дцати всевозможных религиозных культов. А декадентское
творчество всё разрастается, странные, развинченные и раз-
винчивающие нервы сонеты наводняют страницы журналов,
говоря о чём-то неясном, туманном и зловещем. Эти песни
разлагающейся культуры звучат похоронным звоном зарвав-
шемуся, нервно истощённому и эгоистическому обществу и
всё более истощают его.

Но как случилось, что отрицатели и анархисты-декаден-
ты вдруг превратились в проповедников морали и учителей
жизни?

Ответ прост. Все они более или менее заражены манией
величия, хотят непременно совершить подвиги и насладиться
обаянием славы. Это возможно только на почве служения
людям. И вот они хотят дать людям то, в чём прежде всего
нуждаются сами. Их вдохновение неискренно и аффектиро-
ванно, их форма непроста и некрасива, но она странна, и это
вызывает симпатии к ней. У них есть желания, но нет энер-
гии, и, как всё культурное общество, они рабы жизни, болез-
ненно бьются в ней, как мухи в паутине, и раздражительно

жужжат, наводя уныние и тоску и своей работой ещё более обесцвечивая окружающее. Они желали бы на чём-нибудь укрепиться и не видят вокруг себя ни одной точки опоры; от этого они меняют свой цвет, как хамелеоны, сегодня морализируя, завтра являясь апологетами порока и виртуозами его.

Среди них полный раскол: в то время как Метерлинк, Галлифе и Верлен плачут о истязуемой истине, о загрязнённых добродетелях и зовут людей к богу, Мореас, Ролина и Пеладан сочиняют скабрёзные историйки в духе маркиза де-Сада и преподносят их публике под самодельным соусом философии, основное положение которой гласит:

«Мир – это я, и все законы мира – это я. Моё воображение создаёт, мой ум разрушает; я вижу, что в мире нет ничего способного противостоять силе моего озлобления, я чувствую, что всё, что есть, – это я. И сердце моё полно холодной тоски о древности, когда всё было так крепко, хотя люди были ещё сильнее, чем я».

Но как та, так и другая группа имеет одну общую, родственную черту – страсть заглядывать куда-то во мрак, туда, откуда никто, ни один гений не мог вынести чего-либо ясного, – страсть выходить из пределов жизни в область, которая всё ещё не доступна уму и, всего вероятнее, будет понята не им, а сердцем, если только когда-либо оно даст понять себя.

Есть наслаждение в бою

И бездны мрачной на краю...

Наслаждение в бою недоступно тем, которые уже в день своего рождения были разбиты наголову, явившись на свет невропатами, но наслаждение «на краю мрачной бездны» им по средствам, и они умеют пользоваться им, создавая одну за другой свои мрачные фантазии, предаваясь в них бреду безумцев и призывая следовать за собой безвольное и беспринципное общество, жадно ищущее пикантных ощущений и впечатлений.

Таким образом, они, эти расшатанные, являются как бы мстителями обществу, которое создало их, бесконечно разнообразное в творчестве дурного и отрицательного, как бы розгами, которыми судьба сечёт культурные классы Европы за то, что они, существуя так давно, – не создали для себя жизни, достойной людей.